

17-й год издания

Огонек

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 16

(667)

10 июня

1939 год

ЕЖЕДЕКАДНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ОДИНОЧЕСТВО

1

В полдень море казалось темносиним полотном, отвесно и туго, без морщин протянутым между горами. Угасая на закате, оно становилось совсем плоским и белым. В серебре его застывали неподвижно черные паруса далеких фелюг.

Спокойствием и торжеством моря проникались осенние леса. Навязчивый запах кипарисов ялтинских садов сменялся в лесах запахами опавших листьев граба, запоздалых цветов и первого снега, белившего за ночь розовые вершины Яйлы. По тесным лесным полянам пробегали зайцы. Чехов был счастлив, если возвращался с прогулки с двумя — тремя скромными рыжиками.

Эти часы, проведенные в лесах, среди мацтовых сосен и багровых осенних кленов, с новой силой возбуждали в Чехове давние мечты о скитаниях по обыкновенным и скромным русским местам, мечты о ведущих неизвестно куда заглохших дорогах, оставленных прохожими кострах и о затерянных среди лесов безымянных озерах. Хорошо на берегу такого озера вечером сидеть на скамеечке и думать!

Но он жил в Ялте, и в этом городе ему приходилось устраиваться, видимо, надолго, может быть, навсегда.

Летняя ялтинская пора отшумела. Дорожки марков покрылись лопнувшими каштанами и ржавыми стручками. В гостиницах немногие приезжие хмуро прикладывали руки к холодным изразцам печей. Приятно было идти по опустевшей улице и слышать, как звуки рояля или женского голоса доносятся сквозь закрытые окна и примешиваются к спокойному шуму дождя. Все предвещало медлительные и тихие дни, заполненные книгами, воспоминаниями и долгой работой. Чехов представлял себе, как он сидит в новой комнате за большим столом и пишет повесть, непременно длинную, может быть, даже роман, роман о русских провинциальных людях, — немного скучный, но привлекательный в этой самой скучности...

Он пишет. Дождевые капли, скользя по оконному стеклу, блестят в темноте вечера. Раздается звонок, и вошедший в переднюю почтальон вынимает из кожаной сумки письмо с размытыми

буквами на конверте — письмо с надозвонными вопросами о здоровье, но, в конце концов, все же милое, потому что оно из Москвы.

2

В пригородной татарской деревне Аутке, среди тесных улиц, огороженных стенами из дикого камня, Чехов купил пустырь весь в чертополохе. Здесь он построил небольшую дачу. Шутя, Чехов называл ее коробкой из-под сардин: в столовой или спальне с трудом расставили необходимую мебель. Но фасад дачи был легкий и белый, и Чехов окружил свой новый дом садом.

На новом месте Чехов возобновил жизнь, внешне похожую на мелиховскую, — уединенную жизнь человека, который работал за письменным столом, а отдыхал, ухаживая за деревьями в саду.

Он копал землю, доставал семена, подстригал кусты, сажал миндальные деревья и черешни, камелии и тюльпаны, лилии и гиацинты — сажал все сам, своими руками, даже пальмы: жирные, колючие и какие-то наглые, они не нравились Чехову, но, сажая их в своем саду и следя изо дня в день за их ростом, он, словно взяв на себя ответственность за жизнь этих растений, старался полюбить и их.

Целые дни проводил он в саду, подолгу всматриваясь в каждый куст и медленно переходя от одного деревца к другому, как врач, совершающий обход своей палаты.

Чехов хотел, чтобы сад был необыкновенным. И когда в первый год оказалось, что посаженные им деревца все до одного принялись, когда среди старых груш зацвели синицы и зацвел розовыми цветами миндаль, — Чехову в самом деле казалось, что сад у него необыкновенный.

Весной, по дороге на север, в саду ночевали дрозды. Утром, прежде чем двинуться дальше в путь, они кричали громко и весело.

Проходило лето; на подоконнике в столовой уже лежала небольшая горстка своих, собранных в саду миндальных орехов. В осенние дни облака, словно в тяжелом полусне, медленно опускались на горы, случайный снег покрывал верхушки кустов, а Чехов оставался в Ялте, на своей даче, один, в сумрачном кабинете и тесной спальне.

В эти дни Чехов с брезгливой тоской писал друзьям о темных утрах, воющем ветре и нестерпимом одиночестве.

Он хотел жить, как только может хотеть жить большое и глубокое человеческое сердце. Но болезнь отняла у Чехова не только здоровье. Она лишила его самого главного — возможности видеть жизнь, простую возможность ехать в третьем классе, зайти в избу к больной бабе, провести вечер среди городской толпы, бродить по незнакомой проселочной дороге, прогуливаться по палубе океанского парохода, заночевать в лесной сторожке. Все это было ранее доступно, и все это теперь оборвалось.

Ему казалось непонятным, как может писатель обрекать себя на добровольное заключение в одном каком-нибудь городе, изо дня в день, из года в год видеть все ту же безграмотную вывеску на фасаде соседнего дома, поржавелую водосточную трубу и желтую от навоза и сена базарную площадь, наблюдать одних и тех же людей, слышать одни и те же разговоры.

Как может писать книги о своей родине человек, который никогда не бродил по степному большаку, не слышал крика ночных птиц, не ощущал на себе холодной росы, ожидая утром, на восходе солнца, поезда на глухом полустанке?

3

В ящике письменного стола Чехов нашел старый номер «Будильника». Он перелистал его с тем странным и щемящим чувством, с каким рассматриваешь свою собственную выцветшую и давно забытую фотографию.

В номере был помещен рисунок — «Редакционный день «Будильника». На рисунке были изображены сотрудники журнала за работой. Вот они все... Мефистофель из Хамовников что-то отмечает в записной книжке. Говорит по смешному,



Скамейка в саду ялтинского дома, на которой А. П. Чехов часто сидел с А. М. Горьким.

старинному телефону Роган. Просматривает журнальные гранки Никс. Входят в комнату дядя Гиляй, готовый сообщить последнюю московскую новость.

Чехов увидел и самого себя, беседующего с Эмилем Пупом.

Неужели это был он, одетый в длинный сюртук на одну пуговицу и узкие брюки со штрипками, он, кто проводил дни в тесных редакциях, ходил в шумной компании к издателю за рублевым гонораром и не носил еще пенсне? Неужели это был он, кто вечерами любил поиграть по маленькой в стуколку и мечтал написать замечательный медицинский труд, он, кто с верхнего яруса Большого театра старался рассмотреть на сцене любимую девушку в пачках и розовом трико, неужели это он — человек, который виновен теперь лишь в том, что прожил еще двадцать лет?

Чехов положил журнал обратно в ящик и потом долго сидел неподвижно, ни о чем не думая и только чувствуя всем существом, как далеко и понятию все то, что было его молодостью, и как близко и непонятно все то, что есть его старость.

Но ведь старости и нет еще: есть болезнь, случайно занесенные в легкие бациллы.

Когда тяжело заболел брат Николай, Чехов лучше других понимал, что значит окрашенная кровью мокрота, землистое лицо, вечерний озноб. Он понимал, что Николай болен чахоткой и что жить осталось ему немного.

Николай умер — и это был в жизни Чехова один из самых тяжелых ударов.

Теперь наступил его черед. И он харкал кровью, и у него нехорошо изменилось лицо, и его все сильнее трепала по вечерам лихорадка.

4

Чехов просыпался рано, еще в полной темноте, задолго до того, как над морем взошло солнце. Стучал дождь.

Он садился за письменный стол и при свечах принимался за работу. Но работа не шла, и он знал, что она уже никогда не пойдет, как раньше быстро и радостно, — не пойдет, потому что он болен, одинок, заключен в эти две комнаты и видит изо дня в день, из месяца в месяц одно и то же: вот эту модель парусной яхты над камином, сумку с надписью «Перепись 1897 г.», цветные стекла окна, зеленые, синие, желтые, через которые скудно пробивался свет мерного зимнего дня, — видит это и только это.



Вход в дом А. П. Чехова в Ялте.

Он старался окружить себя вещами, которые напоминали бы о родине, о близких людях, позволяли бы хоть на минуты забыть о нелюбимом городе и своем одиночестве. Он увесил стены кабинета фотографиями друзей и картинами Левитана, небольшими полотнами, на которых художник набросал лесную тропинку, горящий на березовом стволе солнечный луч, зеленые берега Истры и мерцающую в летнем сумраке луну над полем со стогами сена.

Ничего этого теперь не было: ни березы, ни реки, ни поля со стогами.

Теперь, когда Чехов работал, он вспоминал давние московские и бабкинские дни, и ему хотелось вновь услышать неясные обрывки веселой беседы, звуки рояля и женское пение. Здесь же была холодная и пустая тишина.

День кончался. Снова горели свечи на письменном столе.

Утомленный работой и одиночеством, Чехов с недоумением думал о том, куда же ему деваться.

На набережной святому искусству служили дрессированные блохи. В деревянном театре неведомые актеры разыгрывали трагические спектакли и общедоступные «вечера настроений».

Однажды от скуки Чехов зашел в театр.

Боясь быть узнанным, он пробрался на галерку. Сквозь щели дул сырой ветер. Слышно было, как на рейде гудел пароход. Рядом с Чеховым стоял студент с зеленым лицом, вероятно, чахоточный. Он кутался в черную накидку с застежками в виде львиных голов и озирался по сторонам.

Оркестрик сыграл вальс «Эйфелева башня» и марш «Слезы России». Цепляясь за декорации, поднялся занавес. Громко шипел суфлер, актеры хватились за голову, шаркали ногами, улыбались в публику. Все это напоминало Чехову таганрогский театр и гимназические годы. Но теперь, когда Чехов стоял в пальто на галерке, воспоминания эти вызвали такую щемящую грусть, что Чехов поспешил уйти из театра.

Набережная была пуста. Большой пароход стоял у пристани, светясь множеством желтых глаз. Только он один казался живым.

Чехов сел на извозчика, чтобы ехать домой. Но домой не хотелось, и на полдороге он решил отправиться в женскую гимназию. Там знакомая девушка-венгерка играла ему на арфе и весело болтала на ломаном русском языке. Чехов смотрел на ее быстро пробегающие по струнам руки и думал о том, что в новой пьесе надо описать девушку, одинокую и некрасивую, которая будет играть на арфе и очаровывать своей неправильной речью.

В иные летние вечера он брал извозчика и уезжал по белевшему шоссе в горы. Тусклые огни Ялты как будто дырявили темные горы, казавшиеся ночью совсем плоскими. С приятным шуршанием экипаж въезжал в лес. Сквозь деревья просвечивало только море, похожее на пустыню.

Еще давно, в молодые годы, Чехову попала в руки книга изречений Генриха Гейне.

Гейне он прочел:

«Я люблю море, как собственную душу. Иногда мне кажется, что море и есть сама моя душа».

Эти строки Чехов отчеркнул на полях книги. Теперь он вновь вспомнил эту запись.

Но чаще всего оставался он вечерами дома. Ветер выл, как в четвертом акте «Чайки», и с усмешкой думал Чехов о том, что никто не придет к нему в этот глухой вечер, как пришла к молодому писателю Треплеву девушка, которая назвала себя чайкой, подобно пушкинскому мельнику, что называл себя вороном.

Он уходил в спальню. Покрытая белым пикейным одеялом узкая кровать напоминала почему-то о детстве. Он ложился без желания сна, брался за книжку «Исторического Вестника», но чувствовал, что слишком устал, чтобы читать. Сняв пенсне, Чехов сразу подобранными близорукими глазами рассматривал календарь над кроватью, голубой таз для умывания, старый шкаф... С таганрогских времен он помнил этот шкаф красного дерева, каким-то чудом уцелевший от торопливых распродаж и частых переездов с места на место.

Шкафу исполнилось, вероятно, сто лет. Он скрипит и потрескивает, но, конечно, переживет своего владельца. И чего доброго, когда он, Чехов, умрет, какой-нибудь господин, введливый и важный, напечатает статью о семейном чеховском шкафу... Какой веселый водеvil можно написать о собственной смерти и возне глупых сусликов вокруг старых шкафов!

Наконец, он тушил свечи и оставался в полной темноте.

На часах было только десять.

Чехов приехал в Москву в первые дни мая.

Незадолго до отъезда из Ялты Чехов, глядя на уже вынесенные в сад кадки с пальмами, решил, что купит одноэтажный домик в Москве, обязательно на окраине, где-нибудь на Немецкой улице или у Курского вокзала, и поселится в нем навсегда, будет жить в нем, никуда не выезжая. И вот извозчик вез его по знакомым привокзальным переулкам. Чехов смотрел на дома. Между оконными рамами стояли стаканы с серной кислотой и лежала вата, почерневшая за зиму и осыпанная сверху мелко нарезанной цветной бумагой. Видны были стены комнат, оклеенные розовыми и зеленоватыми обоями, какими оклеивают дешовые гробы. Все это было и в его жизни, эти обои и почерневшая вата, было очень давно, в детстве; и сколько бы решений теперь ни принимать, в каких бы тесных домиках ни селиться, все равно не вернуть уже простое и обыкновенное право на свою жизнь...

Чехов раздраженно сказал извозчику:

— Прибавь ходу!

Хотелось поскорее добраться до квартиры и лечь на новом месте, как лежал он у себя дома в Ялте.



Дом А. П. Чехова в Ялте.

...Березы в садах стояли уже зеленые, в листьях легко шумели светлые дожди, внезапно выпал снег, смешиваясь с белым цветом черемухи. Чехов не радовался весне. Болезнь отняла у него погоду. Для него существовал только климат — тот климат, о котором толковали лечившие его врачи.

Он лежал, прислушиваясь к тянущим болям в руках и ногах и стараясь придумать им какое-нибудь подходящее медицинское объяснение. Но придумать ничего не удавалось; и эти боли, новые, непонятные, безобразные, вызывали в нем растерянность, уныние и страх.

В часы, когда Чехову становилось немного лучше, он вспоминал о московских друзьях. Он посылал им короткие письма, звал к себе и все предупреждал, что в доме у него есть лифт, словно не веря, что можно подняться на третий этаж без нестерпимого сердцебиения и мысли о близкой смерти.

Знакомые приходили и постепенно отвечали на расспросы Чехова, боясь задавать вопросы ему самому.

Вслед за знакомыми приходили люди, носившие неопределенное название посетителей. Чехов лежал в постели, стараясь подавить боль, а подле него сидел какой-нибудь литератор с сытым и поношенным лицом. Нетерпеливо дождавшись, пока Чехову переменят компресс, он начинал жаловаться на утомление от жизни.

И на прощанье внушительно говорил:

— Я с вами, Антон Павлыч, не согласен принципиально...

Жена отвезла его за границу.

Навстречу московскому курьерскому поезду тянулись эшелоны с солдатами. Шла война России с Японией, русские войска отсылались на Дальний Восток.

Вести о войне волновали Чехова. Он готов был ехать врачом в армию, забывая о том, что он умирает.

Берлинский врач назначил Чехову лечение на курорте Баденвейлере.

Овечьи тишины сады и улицы, которые вели пешеходов в спокойные и густые леса, маленькие гостиницы с красными черепичными крышами, белые фаянсовые кувшины с водой — все это понравилось Чехову.

В Баденвейлере было девятьсот коренных жителей, достаточно здоровых, чтобы думать о смерти, и столько же приезжих, которым думать о смерти не разрешалось.

Те, кто приезжали сюда лечиться и умирать, должны были носить крахмальные воротнички, есть овсянку и пить какао, очень часто и очень вежливо приподымать шляпы при встречах друг с другом, совершать прогулки в экипажах, которыми правили трезвые и рассудительные кучера в невысоких цилиндрах, дважды в день: в семь утра и в полдень — приходиться в парк, садиться на выкрашенные в зеленую краску, нумерованные железные стулья и слушать, как под деревянной раковиной пожилые немцы старательно разыгрывали увертюры Вебера.

И Чехов подчинился правилам жизни Баденвейлера: ел глупую овсянку и пил сладенькое какао, катался в экипаже, слушал музыку, ста-

рался не теряться в присутствии важных метродотелей.

Долгими часами сидел он на балконе, успокоенный, согретый, готовый поверить в свое выздоровление.

По оранжевому песку дорожек ходили садовники в подтяжках и с озабоченными лицами подстригали кусты. Изредка тишину нарушала деревянная кукушка: она выскакивала из стены и негромким голосом считала часы.

Иногда Чехову казалось, что он еще поправится.

Снова возвращался он к мысли о поездке в Норвегию, на итальянские озера, строил планы путешествия по Средиземному морю...

«Здоровье мое поправляется, входит в меня не золотниками, а пудами», — писал Чехов одному из друзей.

И с какой-то странной настойчивостью, как будто стремясь убедить самого себя, повторял он эту фразу в письмах на родину.

Он умер в душный июльский день. В бреду говорил о каком-то матросе, спрашивал о японцах...

«Через неделю я буду уже совсем здоров». Так писал Чехов своей матери в Ялту.

Письмо это Чехов пометил тринадцатым июнем. Через три недели мать, стоя на лестнице ялтинской дачи, узнала то, что от нее скрывали уже несколько дней.

Она молча опустила на ступеньки.

Ее старались утешить. Но она понимала только одно — что сын, которому она когда-то заказала у портного синий гимназический мундирчик, сын, расклевывавший себе однажды лоб, купаясь в море, сын, приехавший после долгой разлуки из Таганрога в Москву какой-то новый, незнакомый, большой, сын, часто встававший ночью с постели, чтобы сесть за свою рукопись, — сын этот умер.